

ОГОНЁК

№ 28 (1413)

11 ИЮЛЯ 1954

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

32-й год издания

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ

ПОДВИГ

Корней ЧУКОВСКИЙ

Был в России строгий и придирчивый критик, который с упрямой враждебностью относился к гениальному творчеству Чехова и в течение многих лет третирует его как плохого писателя.

Даже теперь, через полвека, обидно читать эти злые и резкие отзывы о произведениях великого мастера. «Рухлядь», «дребедень», «ерундишка», «жеваная мочалка», «канифоль с уксусом», «увесистая белиберда» — таковы были обычные его приговоры.

Пьеса «Иванов» еще не появилась в печати, а уж он назвал ее «Болвановым», «выкидышем», «поганой пьесенкой». Даже изумительная «Степь», этот — после Гоголя — единственный в мировой литературе лирический гимн бескрайним просторам России, названа у него «пустышкой», а о ранних шедеврах Чехова, таких, как «Злоумышленники», «Ночь перед судом», «Скорая помощь», «Произведение искусства», которые нынче вошли в литературный обиход всего мира, объявлено тем же презрительным тоном, что это рассказы «плохие и пошлые»...

Замечательнее всего то, что этим жестоким и придирчивым критиком, так сердито браковавшим чуть ли не каждое творение Чехова, был он сам, Антон Павлович. Это он называл чеховские пьесы пьесенками, а чеховские рассказы — дребеденью и рухлядь.

До нас дошло более четырех тысяч его писем к родственникам, друзьям и знакомым, и характерно, что ни в одном из них он не называет своего творчества творчеством. Ему как будто совестно применять к собственной литературной работе такое пышное и величавое слово. Когда одна писательница назвала Чехова гордым мастером, он поспешил отшутиться от этого высокого звания:

«Почему вы называли меня гордым мастером? Горды только индюки».

Во всех своих письмах, особенно в первое десятилетие литературной работы, он говорит о ней в таком нарочито-пренебрежительном тоне:

«Постараюсь нацарапать какую-нибудь кислотинку... «Накатал я повесть»... «...кое-как смерекал 2 рассказа»... — иначе он и не говорил о могучих и сложных процессах своего литературного творчества, шло ли дело о «Скудной истории», или о «Дуэли», или о «Ваньке», входящем ныне во все хрестоматии, или об «Именинах», написанных с истинно толстовскою силою.

Впоследствии он отошел от такого жаргона, но попрежнему сурово отзывался о лучших своих сочинениях:

«Пьесу я кончил. Называется

она так: «Чайка». Вышло не ахти. Вообще говоря я драматург неважный».

И хотя к концу восьмидесятых годов Чехов из всех писателей своего поколения выдвинулся на первое место, он продолжал утверждать в письмах, что в тогдашней русской беллетристике он, если применять к нему табель о рангах, на тридцать седьмом месте, а вообще в русском искусстве — на девяносто восьмом.

Было похоже, что он с юности дал себе строгий зарок никогда ни перед кем не похвалиться величием своего литературного подвига и никогда ни перед кем не обнаруживать, как торжественно, сурово и требовательно относится он к своему дарованию. Один из самых глубоких писателей, Чехов то и дело твердит о своем легкомыслии. «Из всех ныне благополучно пишущих россиян я самый легкомысленный и несерьезный», — говорит он в 1887 году в письме к Владимиру Короленко уже после того, как были написаны такие проникновенные произведения, как «Счастье», «Дом», «Верочка», «Недоброе дело» и многозначительный рассказ «На пути», в котором тот же Короленко нашел удивительно верное понимание самой сущности скитавшихся по свету «русских искателей лучшего».

Когда в 1888 году Чехов получил от Академии наук за свою книгу премию имени Пушкина, он заметил в одном письме:

«Это, должно быть, за то, что я раков ловил».

Конечно, многое объясняется здесь нежеланием Чехова вводить посторонних в свою духовную жизнь. «Около меня нет людей, которым нужна моя искренность и которые имеют право на нее», — признавался он. У него издавна вошло в привычку таить от большинства окружающих все, что относится к его творческой личности, к его писательским исканиям и замыслам, и он предпочитал отшутиться, лишь бы не вводить посторонних в свой внутренний мир.

Но чаще всего здесь проявлялось «святое недовольство» собою.

Это недовольство выразилось у Чехова с наибольшею силою в 1887—1889 годах, когда он впервые ощутил свою славу.

Слава была для него неожиданностью. Еще недавно он терялся в вульгарной толпе третьеразрядных литераторов малой прессы. Но в Петербурге к тому времени уже появились сначала одиночки, а потом целые фаланги знатоков и ценителей, которые стали все громче восхвалять дарованием Чехова, и когда он приехал наконец в Петербург, они, к удивлению Антона Павловича, астрелили его такими восторгами, что даже

у него, по собственному признанию, «месяца два кружилась голова от хвалебного чада».

«На-днях я вернулся из Питера. Купался там в славе и нюхал фиаммы», — сообщал он в письме.

Эти фимиами сулили ему прочное будущее и раньше всего полное освобождение от изнурительной бедности, которая с детства угнетала его. Еще со студенческих лет ему пришлось содержать и сестру, и брата, и мать, и отца, и теперь он мог впервые свободно вздохнуть после целого десятилетия подневольной поденщины.

Кроме того, эта внезапная слава завела его в избранный круг самых выдающихся русских людей, о котором не могли и мечтать его соратники по «Сверчкам» и «Будильникам».

Все это были такие удачи, что друзья и завистники стали называть его Потемкиным. «Счастья баловень безродный», — повторял он сам о себе.

В 1889 году в столице с большой помпой открылась выставка картин Семирадского, среди них особенно шумный успех имела одна, изображавшая обнаженную красавицу Фрину, на которую с восторгом взирала толпа.

«В Питере теперь два героя дня», — писал Чехов, — «нагая Фрина Семирадского и одетый я».

Но чем пламеннее превозносили его почитатели (один даже назвал Чехова слонем среди всех беллетристов), тем беспощаднее был он к себе. Подводя в конце 1889 года итоги своим литературным успехам за этот счастливейший период своей писательской жизни, он говорил в откровенном письме, что у него за спиною «много множество ошибок и несообразностей, пуды исписанной бумаги, академическая премия, житие Потемкина — и при всем том ни одной строчки, которая в моих глазах имела бы серьезное литературное значение... Мне страстно хочется спрятаться куда-нибудь лет на пять и занять себя кропотливым серьезным трудом. Мне надо учиться, учить все с самого начала, ибо я, как литератор, круглый невежда».

И в другом письме еще более сурово:

«Сам я от своей работы, благодаря ее мизерности, удовлетворения не чувствую... никогда не рано спросить себя: делом я занимаюсь или пустяками?... чувство мое мне говорит, что я занимаюсь вздором».

А вот выдержки из других его писем, где говорится о том же:

«Бывают минуты, когда я положительно падаю духом. Для кого и для чего я пишу? Для публики?.. Нужен я этой публике или не нужен, понять я не могу...»

«Мне не нравится, что я имею успех... обидно, что чепуха уже

сделана, а хорошее валяется в складе, как книжный хлам».

Таким образом, во время самых своих блестящих литературных удач этот «баловень счастья» высказывает мучительное недовольство не тем или другим своим произведением, а всей своей литературной работой. Только что завоевав первую славу, он хочет спрятаться от нее, уйти в тишину, в неизвестность, чтобы там, поработав лет пять, свершить наконец что-нибудь насущно необходимое людям, потому что, как выразился он в тот же период, «современная беллетристика совсем не нужна».

Беллетристика — единственное дело, которому до того времени отдавал он всю свою душу, — оказалась в его глазах делом «несерьезным», «ненужным» и «вздорным».

И он решил с этим «вздором» покончить.

«Потягивает меня к работе, но только не к литературной, которая приелась мне».

Этот отказ от служения искусству, это отречение художника от своего мастерства свойственны, кажется, одним только русским — и притом великим — талантам. Нигде в других странах, кажется, никогда не случилось, чтобы люди таких титанических сил, как Гоголь и Лев Толстой, в самом апогее славы вдруг начинали презирать то великое, что создано ими, и считая, что их искусство — никому не нужное дело, принуждали себя к отходу от искусства во имя более плодотворного служения людям.

То же самое, но, к счастью, не надолго случилось и с Чеховым. Только у Гоголя и у Толстого их отказ от творчества был демонстративным и громким, прозвучал на всю Россию, на весь мир, а Чехов, привыкший по своей, чеховской, скрытности не показывать никому своих чувств, отошел от беллетристики молча, без деклараций и проповедей.

Чувства эти были глубокие, длительные. Иные они не толкнули бы Чехова на один, как тогда говорили, «безумный поступок», или, как мы скажем теперь, самоотверженный подвиг. Я говорю о его тогдашней поездке на остров Сахалин для изучения быта сосланных туда каторжан.

Мемуаристы не раз повторяли один за другим, что им не совсем понятно, почему ни с того, ни с сего Чехов в 1890 году пустился в этот опасный и утомительный путь.

«Я до сих пор, — утверждает Ежов, — не понимаю поездки Чехова на Сахалин. Зачем он туда ездил? За сюжетами, может быть. Не знаю».

«Причины, вызвавшие Чехова на осуществление исключительно трудной поездки, — пишет Балуха-

тый,—остаются до настоящего времени недостаточно выясненными».

А между тем стоит только вспомнить то страстное недовольство собой, которое в ту пору с особенной силой охватило писателя,—недовольство своим искусством, своими успехами,—и его поступок станет вполне объясним. Именно потому, что все это дело было так трудно, утомительно, опасно, именно потому, что оно вводило прочь от благополучной карьеры преуспевающего и модного автора, Чехов звал его на свои плечи.

Человек, никогда не щадивший себя, он и нынче не дал себе ни малейшей поблажки. Другие писатели, чуть только они добивались известности и выкарабкивались из тяжелой нужды, уезжали туристами куда-нибудь в Париж или в Рим; а Чехов вместо этого сослал себя на каторжный остров.

Мог бы отдохнуть у Средиземного моря, а принудил себя, больного, отправиться в самое гиблое место, какое только было в России. И при этом пояснял:

«Поездка — это непрерывный полугодовой труд физический и умственный, а для меня это необходимо... надо же себя дрессировать».

К своей сахалинской поездке он начал готовиться задолго, проштудировал целую библиотеку ученых томов, а также всевозможных газет и журналов, имеющих хотя бы отдаленное отношение к тому Чортову острову, который он собрался посетить. Чехов изучил геологию Сахалина, его флору и фауну, его историю, его этнографию и вместе с тем досконально изучил тюремное устройство, так как хотел вступить в борьбу с русской каторгой не как легковесный публицист, а как серьезный, хорошо вооруженный ученый. И едва только довел до конца этот огромный подготовительный труд, тотчас же помчался туда, куда обычно людей гнали силой,—через всю Сибирь, за тысячи и тысячи верст. Поехал не по железной дороге, которой тогда еще не было, а на лошадей, в таратайке, в распутицу, по «единственным в мире» кочкам, колеям и ухабам, выворачивающим из человека всю душу, нередко ломавшим колеса и оси. Его так жестоко трясло всю дорогу, особенно начиная от Томска, что у него разболелись суставы, ключицы, плечи, ребра, позвонки; чемоданы то и дело взлетали на ухабах, руки-ноги у него коченели от холода, и есть ему было нечего, так как он по неопытности не захватил с собою нужной еды,—и несколько раз только чудо спасало его от смерти: однажды ночью его опрокинуло, и на него налетели две тройки, а в другой раз пароход наскочил на подводные камни. Но дело, конечно, не в этих опасностях, а в тех бесчисленных лишениях и муках, которые претерпел он в пути.

Больно читать в письмах Чехова, как, пробираясь по весеннему разливу в тележке, он промочил валенки и должен был в мокрых валенках полминуту спрыгивать в холодную воду, чтобы придерживать лошадей. «Плыву через реку, а дождь хлещет, ветер дует, багаж мокает, валенки опять обращаются в студень»,—и ко всему этому злая бессонница от невозможности вытянуться в неудобном возке.

И все же он пробирается вперед, и, конечно, он не был бы

Чеховым, если бы после всех этих мук не написал с какой-то станции одному из своих знакомых:

«Путешествие было вполне благополучное... Дай бог всякому так ездить».

Здесь сказала бы обычная его неохота говорить посторонним о своих испытаниях и подвигах. Между тем то был воистину подвиг. Каторгу русские писатели изучали и прежде, но изучали почти всегда поневоле: и Достоевский, и Короленко, и Мельшин, оставившие нам замечательные книги о каторжной жизни, сами были в свое время ссыльными и каторжанами. А чтобы молодой беллетрист в счастливый период своей биографии сам, добровольно отправился по убийственному бездорожью за одиннадцать тысяч верст с единственной целью принести хоть какое-нибудь облегчение бесправным, отверженным людям, хоть немного защитить их от произвола бездушно-полицейской системы,—это был такой героизм, примеров которого немного найдется даже в истории русской литературы.

И как застенчивый русский герой! Этот подвиг был совершен Чеховым втихомолку, тайком, и Чехов только о том и заботился, чтобы посторонние не сочли его подвига подвигом.

Он отправился на Сахалин не от какой-нибудь организации, не по командировке широко распространенной и богатой газеты, а на свой собственный счет, без всяких рекомендательных писем, в качестве обыкновенного смертного, не имея никаких привилегий. И когда он промок под дождем и, прошагав несколько верст по ужасной дороге по колено в воде, попал вместе с каким-то генералом в избу, то генералу предоставили постель, генерал переоделись в сухое белье, а он, Чехов, должен был лечь прямо на пол в промокшей насквозь одежде!

И там, на Сахалине, он звалил на себя столько работ, что, пожалуй, среди тамошних каторжников таким же каторжным работником был в эти месяцы сам Антон Павлович.

Собирая материал для своей будущей книги, Чехов предпринял чудовищно трудное дело: переписать всего населения этого огромного острова, который вдвое больше Греции. Перепись была бы по силам большому коллективу работников, а он сделал ее один, без помощников, переходя из избы в избу, из одной тюремной камеры в другую.

Мудрено ли, что эта поездка вконец расшатала и без того некрепкое здоровье писателя. К тому же он простудился на обратном пути и стал кашлять гораздо сильнее, чем прежде. Слишком ранняя смерть Чехова, несомненно, объясняется тем, что в ту самую пору, когда он еще мог вылечиться от начинавшегося у него туберкулеза, он несколько месяцев кряду провел в таких невыносимо тяжелых условиях, которые и для здорового человека могли бы оказаться губительными. Кроме того, эта поездка буквально разорила его, так как он истратил на нее все свои деньги (одним ямщикам пришлось платить вдвое и второе, да и случайные дорожные спутники обобрали его, как могли), и снова ввергла его в долгую нужду. Даже через четыре года после поездки он пишет:

«Я истратил на поездку и на ра-

боту столько денег и времени, сколько не получу назад и в 10 лет».

Еще позднее, когда он случайно очутился в глуши, в убийственно изнурительных условиях жизни, у него в письме к Горькому вырвалась запоздалая жалоба:

«О, это ужасно, это похоже на мое путешествие по Сибири!»

Но в то время, когда он вернулся из далекого путешествия, кашляющий, с переборами сердца, он ни разу не встал в позу героя. И о своем путешествии стал говорить в обычном ироническом тоне. «Да, Сашечка,—писал он старшему брату,—объездил я весь свет, и, если хочешь знать, что я видел, то прочти басню Крылова «Любопытный». Какие бабочки, букашки, мушки, таракашки!»

Критики упрямо не хотели заметить, что Чехов и здесь, как и в других своих книгах,—борец за народное счастье. Еще собираясь на Сахалин, он писал: «Не дальше, как 25—30 лет назад, наши же русские люди, исследуя Сахалин, совершали изумительные подвиги, за которые можно боготворить человека». Нужно ли доказывать, что к числу таких подвижников принадлежал и он сам!

Но сразу же после возвращения из мучительно-трудной сахалинской поездки он прекратил всякие разговоры о ней. Выставляя свои заслуги напоказ и публично говорить о себе было для него нестерпимо.

Когда в девяностых годах редакция газеты «Неделя» попросила его сообщить некоторые автобиографические сведения, он так и заявил в письме к редактору:

«Для меня это нож острый. Не могу писать о себе самом».

И сильно рассердился, когда в газетной рекламе одно издательство, перечисляя сотрудников, напечатало его имя во главе всего списка.

То же случилось, когда какой-то журнал назвал его в одном из своих объявлений «высоко-талантливым». Чехов в письме к редактору запротестовал против такого эпитета, причем высказал свое убеждение, что лучшей рекламой для писателя — скромность.

Лишь после его смерти мы, его читатели, могли мало-помалу узнать, что на свои скудные заработки он построил три школы для крестьянских ребят, что в год неурожая он (наряду с Толстым и Короленко) самоотверженно работал на голоде, что в качестве врача он во время эпидемии холеры защитил от нее обширнейший округ, и т. д., и т. д., и т. д.

Все эти факты его биографии были долгое время никому не известны, ибо он упорно и неутомимо заботился, чтобы они не просочились в печать.

Здесь был глубоко продуманный нравственный принцип, которого он неуклонно придерживался: не афишировать себя, быть «подальше от выставок», не извлекать из своего дарования никаких привилегий, чтобы ими не стояли преградой между ним и другими людьми, никогда, ни при каких обстоятельствах не разрешать себе ни зазнайства, ни чванства. И нельзя не желать, чтобы пристальное изучение жизни и творчества Чехова помогло нашим молодым писателям вырабатывать те высокие моральные принципы, которые делают его светлое имя синонимом благородства и писательской скромности.